

Николай
Бодрихин



Рассказы

ЗЕЛЕНЕЮЩЕЕ ДРЕВО ЖИЗНИ

Нарисовав несколько стенгазет, схему транспортно-заряжающей машины для военной кафедры, целую кучу карикатур фривольного содержания и унылых обязательных объявлений с росчерками у заглавной буквы, я был зачислен своими, тогда ещё невзыскательными товарищами в категорию «художников» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

– Выручай! – обратился ко мне друг Володька. – Брат приезжает, Юрка, из Тувы, он там механиком пять лет проработал... Надо ему Москву показать – Красную площадь, то да сё, в ресторан сводить, на ВДНХ, в Сандуновские бани... ну и что-нибудь этакое – художественное... Кино-то он видел, – отмахнулся Володька от моего скромного предложения. – Помнишь, мы ходили, в этот... ну, где на первом этаже рыцари на конях и здоровый голый мужик, а на втором – картины.

– А, – немедленно блеснул я, – имеешь в виду Музей изобразительных искусств имени Пушкина.

– Точно, – восхищённо заулыбался Володька, – он самый. Но, Коль, – медленно посерьёзnel он, – я ж в этом деле не в зуб ногой. Из всех художников одного Шишкина и Делакруа помню...

– Шишкин – в Третьяковке, а в Пушкинском – западное искусство, – неожиданно для самого себя, замедлив речь и диссонирруя, торжественно уточнил я.

Володька глянул на меня с лёгким замешательством:

– Вот и я говорю – западное, показал бы ты нам эти самые... картины. Объяснил бы, что к чему. Стакан с меня.

Мы договорились.

Откровенно говоря, я не дока в западноевропейской живописи, тем более не был им тогда, хотя и отличал любимых художников: Делакруа, Рубенса, Рогира Ван Дер Вейдена. Последнего, скорее, по ритмично звучащему имени.

На следующий день, благоухая запахом двухрублёвого портвейна, мы поднимались по широкой белой лестнице Пушкинского музея.

Изо всех сил напрягая память, я старался вспомнить поучительные факты из просмотренных и даже прочитанных когда-то книг и хоть как-то, с привлечением самой смелой фантазии уложить их в прокрустово ложе поучительного экскурса.

Конечно, мы остановились у статуи Давида.



– Вот, знаменитый скульптор Микеланджело слепил... то есть высек её в... в Р-р-име, – с сомнением произнёс я и, обретая уверенность, так как вспомнил, из чего ваял Микеланджело, плавно закончил фразу: – Из каррарского мрамора.

– Высек! – попытался усмехнуться Володька, но, заметив на наших лицах напускную серьёзность, послушно помрачнел.

Юрка, внимательно обзрев статую и заглянув для чего-то за огромную ногу, с восхищением покачал головой и, коротко глянув на меня, одобрительно кивнул.

Я почувствовал, как уверенность укрепляется во мне и вместе с парами выпитого портвейна развязывает язык.

– А это кондотьеры, типа... воеводы ихние, работа Донателло, – незаметно заглянув в пояснительную табличку, объявил я и сделал округлый жест, словно увязывал кондотьеров в некий баул вручаемых впечатлений.

Вообще таблички, имевшиеся при каждой картине и статуе, для начинающего экскурсовода были не только полезны, но порой спасительны.

У картин стало заметно спокойнее.

– Якоб Иорданс – голландский художник, современник и друг Рембрандта. Приход Сатира в гости к крестьянам, – панибратски, но едва не окосев, чтобы моё чтение пояснительной таблички было не так заметно товарищам, объявил я, – ходили такие Сатиры по гостям, предсказывали будущее, творили там всякие заговоры, за что крестьяне угощали их, наливали винца.

Немывшееся козлоное существо, да ещё, по энциклопедическим данным, похотливое, хотя, по той же легенде, одним из первых и сварившее вино, было противно нашему тогдашнему менталитету. Мы рассматривали Сатира с явным неодобрением.

– На Буренцова похож, – с презрением шепнул мне в ухо Володька, с чем я искренне согласился и закивал.

Буренцов была фамилия преподавателя, не сумевшего донести до нас место своей науки ни в мировой цивилизации, ни даже среди инженерно-технических дисциплин, но жёстко требовавшего сдачи зачёта, одобренного многими десятками необходимых цифр, определений и формул.

– У нас такой тоже был, – поделился Юрка, кивнув на полотно, – Санёк из вспомогательной бригады... Чуть где какая пьянка, какой праздник, он тут как тут. Придурковат был слегка, его и не гнали. Сожрать мог – нам на десятерых бы хватило, и выпить – не дурак... А у нас Витя был – свой парень, пахарь, здоровяк, моторист классный – любому мотору мог новую жизнь дать, но зашибал – крепко. А у Вити – жена Тонька, из ДРСУ, крепкая баба, симпатичная, нахальная... Ну, нам-то до неё до фени было – друга жена, а Санёк этот, из вспомогательной, глядим, стал и её прихватывать – на всех фронтах выступать – по армии, авиации и флоту – пожрать, выпить и к бабёнке притереться. Пришлось его, того, на своё место ставить. А он, хоть и здоровый, но удар плохо держал...

Мы дружно и уже явно предубеждённо глянули на Сатира. Существо это обладало демоническими свойствами, во что я тогда ещё не верил, и отомстило мне мелко и быстро, буквально на следующем шагу.

– В Пушкинском музее собраны полотна выдающихся живописцев – Веронезе, Рембрандта, Рубенса, Делакруа, – поспешил поделиться я вымученной мыслью. – Считается, что стоимость полотен этих художников эквивалентна стоимости листа золота, размером с картину и толщиной... ну когда в десять, когда в пятнадцать сантиметров!

Володька и Юрка, одинаково поражённые толщиной золота, подняли брови.

– А вот и Рубенс – великий фламандский художник. «Пьяный силён», – негромко прочитал я название картины, с сомнением разглядывая дряблого пьяного и поджидая друзей, задержавшихся у другого полотна.

– Ну, что вы – Силён, – сдержанно и тихо поправила меня оказавшаяся рядом пожилая интеллигентная женщина, – Силен – мифологическое существо с конскими ногами, старый Сатир.

– Опять Сатир? – посрамленно удивился я. При этом женщина посмотрела на меня с оттенком испуга.

– Да, здоровый мужик, но старый уже и рыхлый... Хотя удар с копыт ничего должен быть, – плавно вошел в разговор оказавшийся рядом Юрка.

У Рембрандта слова не клеились и распались, настолько сильно и естественно было воздействие самой живописи. Одна из картин великого художника «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» всегда оставалась для меня тайной: я любовался ею, не зная её сюжета.

– Видишь, – разъярил вдруг Юрка, – вон высокий мужик – по всему бугор, а этот слева – маленький, видать, предатель, а женщина, что справа, его только что заложила.

Всю жизнь впоследствии я удивлялся, как точно Юрка, едва ли знавший библейской подоплёки разоблачения Эсфирью измены Амана, отметил все драматические детали представленного эпизода. Как безошибочно воспринял он предложенную художником трактовку.

Надо сказать, что живопись в больших дозах сильно утомляет большинство людей, что уже через час становится тяжело, начинает болеть голова. Чтобы прийти в норму, необходимо особое потрясение. Такое потрясение мы испытали, оказавшись перед великой картиной Ван Гога «Дорога в Овере после дождя».

– Как будто на балкон вышел из накуренной комнаты, – растроганно сказал Юрка.

– Как в детстве... у речки... за огородами, – растерянно добавил Володька.

Я уже готовил комментарий к единственной в музее картине любимого нами с Володькой Делакруа, когда в зале, легонько щёлкая каблукочками, появилась миловидная, изящно и элегантно оформившаяся молодая посетительница. В её лице не было ни характерной девичьей отстранённости, ни затаённой «грусливой» меланхолии. На наши призывные взоры она ответила резким, остро испытующим взглядом. Эта симпатичная девчонка напоминала актрису Людмилу Савёлову, произведшую большое впечатление на многих парней нашего поколения.

Мы вроде были ещё не женаты и без действия снести появление одинокой очаровательной девицы, конечно же, не смогли.

– Девушка, а вы видали там внизу, из каррарского мрамора? – устремился в атаку Володька.

– А Сатир Рембрандта... с копытами? – ещё не имея тактического плана, но чтобы не упустить времени, пристраиваясь с другого края, начал строить свой словесный заход Юрка.

Я, ожидая, что братья вернутся, остался у картин. Вскоре мною завладели сложные чувства, вылившиеся в легкую печаль: с одной стороны, не довелось изложить мыслей, почёрпнутых из книги о Делакруа, с другой – девчонка мне тоже понравилась, и мне тоже хотелось за ней приударить, но «noblesse oblige» – положение обязывает. Я остался у закованных в рамы произведений великих художников, рассеянно и грустно скользя взглядом по цветовым пятнам, контрастам, теням и валерам, созданным великими мастерами.

На следующий день Володька тряс мне руку и горячо благодарил от своего имени, от имени брата и общественных организаций за проведённую экскурсию.

А в моём мозгу, уже по прошествии многих лет, к тому давнему эпизоду приклеилась строка Гёте:

Суша поэзия, мой друг,
А древо жизни пышно зеленеет...

КОТ

В 70-80-е годы двадцатого века, на юге Тверской, тогда Калининской области, было очень популярно имя Дмитрия Борисовича Котова – директора мощного и богатого совхоза-миллионера, Хозяина с большой буквы. Был он крут, неискателен и отважен перед начальством, прям и честен с подчинёнными, резок в определениях, любил и умел крепко выпить, бывал порой несдержан на руку, отчего не заслужил Звезду Героя, но имел не один орден Ленина и пользовался искренним авторитетом со стороны работников и работниц как собственного хозяйства, так и завистливым интересом со стороны участников соседних хозяйственных образований и даже конаковских горожан. Слухами о нем полнился соседний Клинский район Московской области, Калининский и Кимрский. Надо заметить, что работников совхоза он обеспечивал жильём, а через 5-8 лет полезной работы в совхозе давал собственный дом, а при желании и обзаводил скотиной, отчего в совхоз имелась очередь желающих в несколько сот человек. В 70-е – 80-е годы XX века для Калининской области явление очень редкое.

Котов был чуть выше среднего роста, с круглой седой головой, кряжистый, с быстрой походкой. На людях появлялся чаще в светлой рубаше, одетой под тёмный костюм. Взгляд его светло-голубых глаз был прям, походка твёрда и уверена. Лишь в последние годы при ходьбе он стал по-старчески немного мельтешить. Голос у Дмитрия Борисовича был хрипловатый, грубый, характер ведения речи требовательный, сдобренный к месту применяемыми остроумными и жёсткими выражениями.

Родился Котов в Белоруссии в 1930 году. Война, лишившая его родителей, родных и дома, занесла мальчишку под Калинин. Здесь он и начал трудиться на сельскохозяйственной ниве. В середине 50-х, окончив заочно институт, был назначен директором совхоза.

Появлялся он на центральной усадьбе около 6 утра летом, осматривал намеченные накануне объекты, заезжал на склады, убеждаясь в существовании «ввоза-вывоза», порой не прекращавшегося и ночью, в наличии свободных для продукции мест, в 7 утра проводил планёрку, где рассказывал о первоочередных задачах, нередко немедленно отряжая специалиста на выполнение, сдержанно отмечал отличившихся и нередко устраивал настоящие выволочки нерадивым руководителям, не вникая в причину упущения – будь то пьянство, лень или небрежность. Особенно требовательным одно время он был к «специалисту по сложным зоотехническим процессам» – молодому и красивому, крепкому неженатому парню, относившемуся к своим обязанностям без особого рвения. Котов называл его «случником», жёстко указывал на его ошибки, требовал их немедленного исправления. В хозяйстве Дмитрия Борисовича этот зоотехник со своим отношением был обречён.

Другим «любимцем» Дмитрия Борисовича был начальник совхозного стройцеха прораб Степаныч, маленький хитрый мужичок, знаток сельского строительства, сам овладевший всеми строительными профессиями – и плотника, и каменщика, и такелажника, и сварщика – кладёшь всевозможных прибауток.

С главными специалистами – главбухом, заведующим молочным хозяйством, главным агрономом Дмитрий Борисович общался мало. Они хорошо знали свои тонкие дела и «в кнуте» не нуждались. Другое дело завгар: здесь общение всегда было на повышенных тонах, с применением самой изощрённой ненормативной лексики. От завгара Кот обычно уезжал красный, куда-нибудь в дальний угол своего большого хозяйства, чтобы успокоиться.

Ни один из многочисленных объектов совхоза не бывал забыт директором. Он бывал и на отдалённой ферме в Новой Деревне, и на полях, где перед пахотой собирали валуны, выводившие из строя плуг (валуны использовались при устройстве фундаментов), и у механизаторов, где тут же узнавал причину невыхода той или иной машины, и у армян на асфальтовом заводе, которые строили новую дорогу, и на строительстве домиков, и на ремонте ферм, и на складах, куда, в зависимости от времени года, свозили ту или иную продукцию... Местом, где застать его было маловероятно и почти невозможно, был нарядный директорский кабинет в конторе совхоза. Кругом были люди, конфликты интересов, с одной стороны, связанные с недостатком сил, знаний, средств, с другой – с противоречивостью требований и запросов. В каждый такой конфликт директор был вынужден вникнуть, разрешить или хотя бы наметить пути решения. Где-то приходилось звонить, договариваться, где-то связываться и просить помощи, где-то просто просить и одалживаться, где-то ругаться, материться и заставлять, где-то обманывать, где-то даже драться.

Совхоз «Конаковский» и в самом деле был хозяйством передовым и универсальным. Отсюда шли поставки молока и мяса, здесь возделывалось несколько сортов зерновых, овощей, кукурузы, рапса. Овощи Дмитрий Борисович выращивал круглый год, используя дешёвое тепло конаковской ГРЭС в построенных рядом с ней теплицах. Урожай в котовском хозяйстве, как правило, был процентов на 20-30 выше, чем у соседей.

На центральной усадьбе, рядом с детским садом был оборудован светлый швейный цех, поставлявший свою незатейливую продукцию на внутренний рынок и обустроивавший сельских женщин, кому не по силам было трудиться в поле, на ферме или в теплице. В ГДР для цеха была закуплена швейная немецкая техника, позволившая в несколько раз поднять производительность труда и сделать цех высокорентабельным.

Особую гордость Котова составляли розы и тюльпаны, которые он выращивал в тепличном хозяйстве, устроенном прямо у её стен.

Продукция из совхоза шла и в Москву, и в Калинин, и в Конаково, и в «дипкорпус», как называли здесь завидовский дом отдыха для работников иностранных посольств.

Не было в стороне его хозяйство и от технических новшеств: на всех основных точках – до двадцати – имела устойчивая радиосвязь, была и диспетчёр, энергичная, всё знающая и помнящая, Варвара Петровна, при замешательстве на связи готовая, по примеру директора, усилить свою лексику за счёт неформальной. Котов денно и ночью, подобно командующему армией или космонавту, был либо на связи, либо в нескольких шагах от радиостанции. Эту связь с помощью

военных он завел ещё в начале 70-х, и с тех пор она стала неотъемлемой и важнейшей частью его большого хозяйства.

Крупные, по сельским масштабам объекты он строил обычно с помощью студенческих отрядов. Хорошо подобранный, человек под сорок отряд за полтора месяца своего труда мог построить сложный производственный объект, типа ферменного комплекса или большого сельскохозяйственного склада, плюс десяток жилых домиков из кирпича. Прораб и кто-то из старых совхозных строителей постоянно находился при студентах, тем самым контролируя ведение работ. Сам Котов также ежедневно появлялся на студенческой стройке, разговаривал со студентами, грубовато шутил, интересовался питанием, настроением, умением работников.

На центральной усадьбе, в Селихово, была и хорошая церковь, середины XIX века, отреставрированная и обустроенная при участии Дмитрия Борисовича. Сам он, по-видимому, верующим не был и в церковь не ходил. Старый батюшка был дружен с директором. Был он памятен ещё и тем, что имел трёх очаровательных дочерей, старшие из которых были порчены стройотрядовскими ухажёрами.

Одним из близких ему по духу людей был директор соседнего совхоза «Дмитровогорский». Центральная усадьба этого совхоза была к северу от Клина, недалеко от города. Там же, фактически упираясь в разросшееся село, находился знаменитый Клинский аэродром, устроенный ещё до войны и знакомый каждому лётчику-истребителю, летавшему в Московском округе.

В своей сдержанной манере, без смешков, хрипловатым голосом Котов рассказывал, как этот директор ездил к министру обороны, когда один из «двадцать первых» мигнов на пробеге выкатился с полосы и въехал в избу, обрушив одну из стен и по счастливой случайности никого не задев. Директор хотел упросить министра обороны отдать совхозу поле между аэродромом и селом, указав ему, что аэродром можно переместить в противоположную сторону, где находились земли того же министерства.

– Ну и как, упросил? – заинтересовывались слушатели.

– Э-эк! Упросил! С ним и разговаривать не стали. Вытолкали взашей, едва он там начал заикаться...

Уже в первые дни пребывания в совхозе сразу несколько человек рассказали мне историю, как, объезжая поутру свои нивы в пору уборки, он нашёл на одном из дальних полей остановленный комбайн и тихо спящего неподалёку здорового комбайнера. Кот, а так за глаза звали директора практически все, кроме конторских подхалимов, с подвыванием именованных его Димитрием Борисчем, немедленно возмутился, поднял механизатора за грудки и врезал ему по сусалам. Мужик оказался здоровым, неробкого десятка, и то ли не разобрал, кто пробудил его столь грубо, то ли привык реагировать на «реалии социализма» соответствующим образом, но немедленно ответил Коту сильным ударом в челюсть.

Димитрий Борисч, хоть и был хорошего телосложения, но поймал рауш и сел на землю. Несколько секунд одной рукой он держался за траву, другой – за челюсть, пытаясь подвигать её из стороны в сторону.

– Никому не говори! – хмуро сказал он комбайнеру, влез в своего «козла», включил передачу и укатил с дальнего, недружественного поля.

...Одним из приоритетных развлечений Кота был еженедельный выезд на далёкую реку Сестру, к вечеру, часа на полтора-два, куда он брал обычно двух-трёх доверенных лиц и любезных его сердцу передовиков производства. Здесь

под огурчики-помидорчики выпивались несколько бутылок водки и устраивалось купание. Запомнилось, что прозрачная вода в окаймлённой глубокими, заросшими высокими травами оврагами Сестре была холодной даже в конце июля тёплого лета, а дно ровным, каменистым, словно вымощенным булыжником.

Другим тихим местом, куда любил заехать Котов, чтобы пообедать с нужным человеком, был маленький аккуратный «директорский домик», построенный рядом с двухэтажным совхозным домом отдыха у самого крутого берега Волги, в деревне Заборье. Великолепный вид, открывавшийся на широченную реку, а здесь она становилась Иваньковским водохранилищем, мощные столетние сосны, напававшие воздух несравненным хвойным духом, укрывавшие от дождя и бросавшие на землю благотворную тень, разноцветье нарядных трав пьянили сознание, гнали прочь суетность мысли...

Рыбу Дмитрий Борисович никогда не ловил, а вот охотился с удовольствием, только зимой, на крупного зверя: кабана, лося, медведя, волка.

В русском духе много ходило слухов о том, как богат Кот, как роскошна его дача в Мошковском заливе, как по-царски устроены его дочери, какая невиданная мебель украшает его городскую, в Конаково, квартиру, что есть ещё и роскошная квартира в Москве «в кремлёвских домах», где серванты уставлены лучшими чашками из старинных «кузнецовских» сервизов. Ведь не секрет, что Конаково – это послереволюционное название поселка Кузнецово, где известный фарфоровый фабрикант обосновал когда-то своё знаменитое производство.

Уже в конце 80-х, когда над Россией разразилась перестройка, состарившийся Кот ушел на пенсию, мне с приятелем довелось провести его на той самой даче. Там я был впервые и с интересом ожидал увидеть равнодушные высоченные хоромы, с неизменной баней, молчаливым мордатым охранником и гаражом у ворот, с лодочным причалом на берегу. Такие «фазенды», в духе реализации национальной идеи, наваянной демократизацией, встречались уже и в то время. Я был удивлён, ступив на порог скромной «сборно-щелевой» дачи, стоявшей в пятом или шестом ряду от берега, где был согрет благодарностью двух забытых стариков – Дмитрия Борисовича и его жены. Обшарпанный сервант, правда, дрожал на зыбком полу в одной из двух комнат, но чашки в нём были явно не «кузнецовские».

Кот был уже не тот – отсутствие власти, ответственности, ежедневного напряжённого труда, пошатнувшееся здоровье смягчили его, но резкость определений оставалась с ним до конца.

Он был по-стариковски искренне рад нашему приезду. Рад тому, что сравнительно молодые люди помнили о нём, что они были свидетелями той – такой нужной многим людям его непростой жизни.

В те годы модны были разговоры на политические темы. Не миновала чаша сия и нас. Помнится, Дмитрию Борисовичу очень не понравился мой оптимизм по отношению к перестройке:

– Вы ещё заплачете кровавыми слезами! – грозно определил он к ней своё отношение.

Просидев у стариков до вечера, вдоволь напившись чаю – водочки Дмитрий Борисович уже не употреблял, мы уехали в Москву.

На следующий год Дмитрий Борисович умер. Похоронили его на Селиховском кладбище, у въезда в центральную усадьбу.

С уходом Котова из хозяйства совхоз стал немедленно давать сбои. Два села и семь деревень с их хозяйствами требовали ежедневного пристального внимания и участия. Ушли из совхоза несколько нужных специалистов: кто на покой, а кто переехал в город. Первыми, как это не странно, несмотря на свалившееся обилие запчастей, стали выходить из строя трактора, бульдозеры, комбайны, грузовики и «шассики» – небольшие грузовые тракторишки. Несколько ферм вскоре захлебнулись в навозе. Не со всех полей удалось убрать урожай. Прораба Степаныча посадили. Овощехранилище с регулируемой температурой и эффективной системой вентиляции через пол превратили в «транспортный цех», швейный цех за гроши выкупил, а вскоре бросил какой-то предприниматель, теплицы забросили – их некому стало ремонтировать, элитное стадо покололи на мясо...

Власть в когда-то богатом процветающем совхозе в середине 90-х захватили «братки».

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Отец моего дружка Гарика, Виктор Петрович, был боевым офицером, совсем ещё юношей зацепившим самый конец войны.

В отношении мальчишек 1926 года рождения (а он был именно с этого года) был приказ – на фронт не брать, использовать во вспомогательных частях. Но мальчишки не были бы мальчишками, если бы подчинялись всем приказам, распоряжениям и требованиям. Немало юнцов правдами и неправдами рвалось на фронт, храбро воевало, а иные и отдали за победу свои молодые жизни.

Так и Виктор Петрович осенью 1944 года попал на фронт, отодвинутый уже на территорию Польши. За подвиги, при взятии какого-то немецкого города, Виктор Петрович был награждён орденом Александра Невского, дорогим для каждого русского человека. О своей боевой работе он скупно рассказывал только в большом подпитии, в основном сетуя, что кончились патроны, что от перегрева погнулись стволы, что помощь подоспела слишком поздно. Вспоминал он каких-то интеллигентных и мужественных людей в штатском – штрафников, попавших в его взвод и павших в первом же бою. Мне нравилось бывать в обществе Виктора Петровича: подкупала его мужественная прямота, умение называть вещи своими именами. Ему было что сказать, о чём рассказать.

Помнится, мы сидели за столом, в их крохотной кухне, на восьмом этаже многоэтажного дома. Виктор Петрович уже изрядно «принял на грудь», расслабленно улыбался и задумчиво смотрел на стоявший напротив дом. Папироса, а курил он исключительно кислый «Прибой» за 12 копеек или жёсткий «Север» за 14, исходила медленно струящимися петлями сизого дыма, заставляя глаз щуриться и выдавливая из него слёзы. Пред нами был обычный московский двор конца семидесятых, с противоположных сторон ограниченный парами двенадцатиэтажных домов, а с краёв, им смежных, – с одной стороны футбольным полем, с другой – детским садом. Наконец, снисходительно сощурясь и задавив папиросу в пепельнице, он кивнул на стоявшие напротив дома и поделился с нами своими размышлениями:

– Мне б сюда эРПэДэ: ни одна б сволочь меж домами бы не прорвалась...

Его жена, Валентина Ивановна, была маленькая, изящная, ласковая, скромная и безмерно трудолюбивая женщина, беззаветно любившая своего Витюшу. Вик-

тор Петрович был хорошего, под 190 см, роста, имел видное, даже горделивое сложение, никакого брюха, мужественное открытое лицо, с открытым взглядом больших голубовато-стальных глаз. Был он не глуп, не болтлив, сдержан – к последним качествам приучило время. Как большинство людей поколения, вынесшего войну на своих плечах, любил «зашибить».

Валентина Ивановна была высококлассной машинисткой, печатала быстро, всеми десятью пальцами, вовсе не делая грамматических ошибок. Своим мастерством и трудолюбием, а заработать на этом тогда можно было до пятидесяти рублей в день, Валентина Ивановна держала на себе всю семью. Успевала она и по дому: муж и сын были обстираны, накормлены и ухожены. До сих пор помню вкуснейшие маленькие пирожки, которыми она нас угощала. Маленькая квартирка была всегда аккуратно убрана, сдержанно, со вкусом украшена. Гарик, их сын, понимал, что своим благополучием он обязан прежде всего матери, и порой, в молодых спорах с отцом ссылался на неё.

– Хм, – усмехался Виктор Петрович в беседе с сыном, – что там мать... Мне, в сорок шестом, дочка самого начпрода глазки строила. Женился б я тогда, вот бы мы с тобой жили!

СИЛА СЛОВА

Гарик, хотя и начал водить машину довольно поздно, но сразу стал заядлым автомобилистом – вошёл в курс цен на легковушки и запчасти к ним, уяснил плюсы и минусы коробки-автомата, а кроме того, неприкасаемость новых, напичканных электроникой двигателей. В дополнение к обладанию всеми этими многосторонними, сушащими мозг, но поддерживающими мысль сведениям, он был изощрённым матерщинником.

Лившаяся из его уст матерщина, казалось, питает саму себя, заходя на высоты, где уследить за предлагаемыми сравнениями с первого раза было просто сложно, а поскольку, как каждое истинное произведение, она была импровизацией, то второй попытки, чтобы расслышать и понять, чаще всего просто не представлялось.

Однажды, разогнавшись на своём «Опеле-кадете», Гарик вовремя не углядел замедлявшийся впереди автомобиль, начал тормозить, но не сумел остановить свою машину и слегка въехал в него, немного помяв чужой бампер. Виноват в аварии, как задний, был Гарик.

Он был столь искренне возмущён актом торможения – не то своего, не то чужого, что разразился длинным, саморазгоняемым матерным монологом. Словоизвержение Гарика не было нарочитым, но было естественно и, если так можно выразиться, свежо. Парень, в которого въехал Гарик, пытался было ему возразить, но, сражённый резкостью оборотов, которым матерившийся сообщал очевидную энергетическую подпитку, прослушал вдохновенный монолог несколько минут и, по-видимому, осознав свои ошибки, хотя и не найдя в «спиче» никаких доводов, сражённый витиеватостью и разноплановостью Гарикова вдохновения, с удивлением покрутил головой, плюнул и, сев в кабину, уехал.

Гарик, которого происшествие проняло до мозга костей, долго не мог успокоиться и, заправив пальцем выскочившую из-под бампера при ударе резинку, матерился ещё минут сорок.

АКИМЫЧ

Акимыч был прорабом одной из ставропольских ПМК. Огромный вес и рост, а как следствие физическая мощь, сочетались в нём с исключительными добродушием, чувством юмора и терпимости к любым местным обитателям и любой местной жарой. А температура жарким летом в ставропольской степи могла достигать пятидесяти с лишним градусов. День-деньской Акимыч мотался по объектам за рулем своего УАЗика, утирая пот большим, с наволочку, белым платком, проверяя монтаж силосных ям, строительство кошар или ремонт кровли завода кормосмесей.

Юмор у Акимыча был своеобразный – балагурный: он немедленно переделывал на смешной лад твою фамилию или имя, или какое-нибудь услышанное малоупотребительное слово, придумывал к нему рифму и выдавал четверостишие... Люди в «аулах», а именно так здесь называли сельские населённые пункты, знали Акимыча и, чувствуя в нём беспедельную доброту и силу, любили его.

Удивляло, что пээмковский народ звал, в большинстве своём, Акимыча – Пугачём, причём за что он заслужил эту кличку, никто не хотел говорить. Лишь спустя довольно продолжительное время, когда народ несколько пригляделся и привык ко мне, я узнал причину происхождения клички.

Однажды Акимыч приехал на один из дальних заброшенных объектов, что располагался уже в калмыкской полупустыне – в посёлке Тукуй-Мектеб и строился по чайной ложке в год. Лет за пять до визита Акимыча геологи пробурили здесь скважину, и густой, с мяч в поперечнике, поток вкуснейшей артезианской воды хлынул из своего глубокого хранилища на землю. Образовался ручей, вернее даже маленькая речушка, и стокковавшаяся по воде земля украсила её берега нарядной зеленью, а Господь щедро наградил невесть откуда взявшейся рыбёшкой. Ушлые местные власти, углубив впадину в русле реки, организовали пожарный пруд, убив сразу нескольких зайцев: организовав невиданную в здешних краях купальню для ребятишек и всего рискнувшего войти в мутную воду люда, резко повысив отчётный рейтинг своей противопожарной деятельности и даже создав условия для ужения рыбы в стоячей воде. Волею судеб, площадь зеркала воды в пруду позволяла испаряться примерно тому же её количеству, что поставлялось сюда рукотворным ручьём.

Подойдя к маленькому, лет семи-восьми, рыбаку, удившему здесь рыбу, а теперь удивленно уставившегося на огромного знаменитого дядьку, Акимыч взял за хвост одну из пойманных маленьких рыбёшек.

– Можно? – спросил он у мальчишки. Тот коротко кивнул, ещё шире раскрыв глаза. Акимыч ловко ополоснул рыбешку в пруду и отправил её в рот, проглотив, даже не жуя.

– А теперь ноги вымой, – задумчиво обратился Акимыч к мальчишке.

– Зачем, дяденька? – зачарованно откликнулся тот.

– А я тебя исть буду...

Мальчишка наверняка понял специфический юмор Акимыча, мальчишки вообще чутки на это дело, но габариты «здоровенного дядьки» были столь внушительны, что, чем чёрт не шутит, он вполне мог поместиться у него в пузе и потому, бросив удочку, решил за лучшее «дать дёру».

БАРЯТИНСКАЯ КАРУСЕЛЬ

Происхождение населённых пунктов на нашей земле связано с самыми разными причинами. Один посёлок возникал неподалеку от удобного водопоя, и охотники когда-то построили здесь свои первые хижины, другой вырос рядом с деревянной крепостцей, сооружённой на важном торговом или военном направлении, третий, уже в наше время, неожиданно появлялся на месте брошенных жилых «бочек», четвёртый – у найденного геологами месторождения, с годами превращавшегося в карьеры или шахты.

Посёлок Барятино образовался на месте имени князей Барятинских – одной из знатнейших и богатейших фамилий России. Большинство подобных имений, даже принадлежавших славным в истории именам, за сложностью обслуживания, было брошено и ныне, столетие спустя с времён революции, разрушено войнами, злой волей, непогодой и температурными переходами от морозов к плюсу.

Барятино, хотя и расположенное вдалеке от дорог, спас роскошный кирпичный дом, вдохновенно сложенный не то немцами, не то собственными самородными каменщиками в первой половине XIX века, по проекту самого Казакова. Ухоженный хвойный лес вокруг усадьбы своей красотой и благородством смирил безжалостные топоры и пилы, отчего и поныне здесь можно укрыться и от дождя, и от палящего солнца.

В начале 80-х гг., когда барятинские дворцы, леса и полянки ещё не были распроданы новым хозяевам жизни, здесь существовал совхоз, дававший заработок сотням людей: кому на бутылку, а кому и на справное хозяйство. Ребятишки в селе были вовсе не избалованы, хотя и имели здесь и детский сад и скромные ясли.

По моему опыту, большинство советских колхозов и совхозов по своему внутреннему порядку, да и по подбору кадров отражали характер своих руководителей, вернее, их подход к делу. В большинстве своём у кормила официальной власти здесь стояли преданные своему делу неглупые люди, старавшиеся честно исполнять свои непростые обязанности. Но попадались и другие: кто случайно попавший на эту должность, кто старавшийся обогатиться, то есть украсть, кто рассматривавший этот свой пост как промежуточную ступеньку.

Народ немедленно реагировал на тип руководства, и если чувствовал, что отношение людей идёт вразрез с произносимыми словами и объявленными планами, немедленно рождал примеры самого разнообразного сачкования и отлынивания. Так и здесь жили сразу несколько «уклонистов». Особенно отличался некий Чипа – худой суетливый мужичок средних лет, большой любитель поддать, неженатый, живший с матерью. Чипа работал шофёром, по сельским понятиям – механизатором. В самую страду – короткое время весной и осенью – он брал себя в руки и исполнял обязанности неплохо. Но уже к лету выкидывал «фортели». Мы заметили за Чипой один приём, который, применённый в целях необходимой маскировки и дезинформации, сделал бы честь целому коллективу. Когда его посылали на работу, которую Чипа считал неважной и не находил в себе сил для её производства, а ездил он на выдавшей виды «Колхиде», то грузовик загонялся на один из безлесых окрестных холмов, сам Чипа залезал под машину и, подвывая руки к переднему мосту, укладывался спать. Наблюдатели видели «старания» занятого ремонтом водилы, а он из разряда сачков попадал в категорию невезучих, но трудолюбивых.

Интересно, что когда рассказал эту историю одному производственнику, он усмехнулся и припомнил слесаря, который, приняв в рабочее время двести или даже триста грамм и окривев, зажимал в тиски верстака свой ремень. Находясь, таким образом, закреплённым за рабочим местом, он не мог упасть и отправлялся в царство Морфея.

...Мы подрядились в Барятино на небольшую шабашку, связанную с ремонтом техники. С техникой местные механизаторы вовсе не дружили, отчего на непроездной поляне за гаражом скопилось множество старой техники – трактора без колёс, с ободранными потемневшими двигателями, старые покуроченные косилки, веялки и даже пара донельзя раздетых, рыжих уже от ржавчины комбайнов.

Основным у нас был Генка, прекрасно владевший и сварочным аппаратом, и значительным комплексом знаний для починки различного механического имущества. Генка был остроумный выдумщик и циник, одарённый от природы разносторонней технической жилкой. Используя вышедшую из строя, но ещё крутившуюся на своей оси ступицу переднего колеса, он приварил к ней трёхметровый уголок, а на краях его сделал подобия сидений.

– Ребятишкам, – весело сверкнул глазом Генка, – пойдём поставим.

Мы прошли в сторону деревенского садика, забили ось ступицы в мягкую землю, и она превратилась в двухместную карусель. Генка поймал одного из пробежавших мимо мелких аборигенов, посадил его на сиденье и, крутанув ось, сказал:

– Катайся!

...У поставленной нами карусели мы оказались дня через три. Мы успели забыть о ней и, увидев царившее здесь веселье, остолбенели. До десятка не избалованных атрибутами веселья ребятишек беспорядочно, с визгом, раскручивали карусель и, бросаясь на край уголка пузом или вися на нем, каруселились. Ногами любителей аттракциона под каруселью были прорыты глубокие канавы.

Я, усмехнувшись, взглянул на циничного Генку: по его грязной обветренной щеке катилась слеза.

РАЗВЕДЧИК

Один из полков дальней авиации носил название Гвардейского Краснознамённого авиационного радиополка специального назначения. Полк этот в конце 60-х был вооружен самолётами Ту-16П, оборудованными системами ведения радиоразведки и постановки помех. Его экипажи периодически занимались не только боевой подготовкой, но испытаниями и доводкой аппаратуры, размещённой на самолётах.

Тогда серийные Ту-16П оборудовались станцией помех «Резеда». С самолета сняли прицел и заднюю пушечную установку, а вместо нее установили хвостовой отсек с аппаратурой станции. В комплект станции входил и блок предупреждения об облучении «Сирена». В этом виде постановщик помех успешно прошел испытания, и саму систему приняли для Ту-16. Позднее, с ещё более грозными целями, на самолёт устанавливались станции «Сирень» и «Кактус». Громоздкие блоки станции «Сирень» располагались в фюзеляже и в хвостовом контейнере-обтекателе.

Большинство этих сложных систем, особенно их пилотные экземпляры, имели значительный вес, требовали определённой настройки и контроля в полёте. Два или три самолёта были переоборудованы так, что в нижней части фюзеляжа, там, где бомбардировщик имеет одноимённый люк, было оборудовано место для

бортинженера, сопровождавшего аппаратуру в полёте. Место это, устроенное полковыми умельцами, было вполне безопасно и пригодно для работы, но совершенно не комфортно: между двумя могучими двигателями – на расстоянии менее метра от каждого, при высоком шуме и повышенной температуре.

Действия бортоператора, сопровождавшего аппаратуру в полёте, были весьма элементарны и цикличны, отчего на его месте решено было использовать молодых офицеров, при согласии последних, приходивших в полк из лётно-технических институтов. В удостоверении, выдаваемом каждому офицеру, в графе воинская специальность, ничтоже сумняшеся, писарем было записано: «разведчик-оператор», причём на слово «оператор» аккуратно оттискивалась печать, скрывавшая это слово.

Молодежь есть молодёжь, и некоторые офицеры позволяли себе сильно «расслабляться» в питейных заведениях соседней Полтавы. Однажды один из тех самых молодых, «расслабившись» практически до упора, попал в комендатуру, которая, привычная к «обслуживанию» сразу нескольких различных полков, погрузила его в коляску, как мешок с картошкой, то есть была с молодым гулякой достаточно бесцеремонна, как то и положено комендатуре.

Каково же было удивление, а затем и скрытый испуг сотрудников комендатуры, когда они прочитали в удостоверении пьяного лейтенанта – разведчик. Авторитет разведки в войсках всегда был высок, такая запись в удостоверениях им ещё не встречалась, и смущённая комендатура, от греха, решила аккуратно, без лишних ускорений и торможений, привезти задремавшего лейтенанта в его часть.

Подъехав к проходной и вызвав дежурного, они, официально и чинно откозыряв, чем смутили последнего, и отчасти даже заискивающе доложили ему: «Подвезли вашего разведчика из города. – Слово «разведчик» докладывающий произнёс на два тона тише. – Решили подвезти, мало ли чего... время позднее...»

Лейтенант в этот момент проснулся и заплетающимся языком продолжил мысль, ещё только нарождавшуюся в мозгу комендатуры: «Да! Я развеч-ч-ик... Был, ик, на за-зании. А вы, ик-к-козлы, всегда только, ик, мешаете...» – с этими словами он вновь безмятежно заснул.

На следующий день командир дополнил неприятные ощущения разведчика при похмелье двумя сутками домашнего ареста.

АУДИТОРНАЯ ЭРОТИКА

Как-то, изнурённый бесплодными усилиями в области построения эпюр на балках, упорно не дававших всходов на ниве слабой работы с учебниками, а также ввиду нерегулярного посещения лекций, преследуемый необходимостью сдачи зачёта, а затем и экзамена, я усталое вернулся к своей парте и, садясь «в стойло», легко и фамильярно оперся на плечо Надьке. Надька была крупной, настойчивой, местами фигуристой и даже фактуристой девицей, переведшейся к нам из МИСИСа – Московского института стали и сплавов, прозванной из-за этого Мисистой.

Надька по-своему оценила моё прикосновение и, выраженно сверкнув выпуклым глазом, с оттенком подавленной страсти неожиданно прошептала:

– Давай поженимся и каждый день будем!

Это предложение, несмотря на очевидные сладостные перспективы, не устраивало меня, индивидуума, надеявшегося освоить элементы строительной механики и уже, как мне казалось, делавшего на этом поприще слабые успехи, сразу по

двум причинам. В первой его части оно считалось в широких кругах достаточно личным, но уже несколько моих товарищей, кто со смехом, а кто в шокированной растерянности, успели поделиться со мной бьющей через край интимностью Надькиных предложений. Но именно первую часть своего предложения Надька считала алгебраически необходимой.

По второй части предложения, учитывая Надькины габариты, смелость туалетов, настойчивость в постижении инженерных наук, её слишком откровенный взгляд и энергичную раскованную походку, я рисковал не дожить уже до первой годовщины свадьбы.

ТВОРЕЦ

Лера был жаден на еду. Когда-то он был освобождённым комсомольским работником невысокого звена, при перестройке быстро сориентировался и, трезво оценивая собственные способности, понял, что можно быть сытым, пьяным и иметь нос в табаке, приблизившись к власти предрержащим, а ещё лучше к тем, у кого оказалось много денег.

Он был предупредителен, исполнительен, услужлив, в меру сообразителен... Если позволяла субординация, решительно отправлялся в лес юмора, где бесстрашно искал смешное, но его ауканье при этом слышалось неважно и часто отдавало чужим эхом.

В годы бандитского капитализма он работал на должности камердинера, получившего тогда название дежурного администратора, у одного из известнейших олигархов. Он распоряжался подачей горячительных и прохладительных напитков, аккуратно вешал небрежно брошенный кем-то плащ, помогал снять обувь, мог аккуратно придержать пса и сдержанно рассказать не вызывающий уныния аккуратный анекдот, распорядиться насчёт чая, обеда или ужина. Хозяин Лере доверял, и на его ответственности находилась весьма значительная подотчётная сумма, предназначенная для покрытия первоочередных хозяйственных нужд поставленного на широкую ногу дома.

Во время одного из особенно больших наездов не то бандитов, не то милиции, не то фээсбэшников он не оставался молчаливым свидетелем, а, как д'Артаньян, «удвоил частоту движений» и, учитывая, что наезд имел для хозяина печальные последствия, наподобие набега татар на русское село при Неврюевой рати, в одночасье стал обладателем крупной, под миллион в долларах, суммы.

Надрывать своё располневшее тело в поисках «куска хлеба с икрой» стало не надо, и, наскоро соблюдая приличия, он в тридцать лет удалился на полный покой, подобно пушкинскому Белкину и толстовскому Нехлюдову. При этом, в отличие от названных литературных героев, он не стал обременять себя ни писанием записок, ни какой-либо службой, ни тем более подвижничеством: долгий здоровый сон, питание, качеству которого он уделял повышенное внимание, новые кассетные фильмы, вечеринки, приёмы и рауты, прогулки за грибами, поездки на отдых в полюбившийся Таиланд в значительной степени занимали его внимание и поглощали время.

Жажда признания, однако, не оставляла его, здорового и ещё относительно молодого человека, и он страстно желал хоть каких-то его проявлений и порой готов был гнать за ним не разбирая дороги.

Нередко, находясь в большой компании, он оказывался на хорошем «взводе», плотно закусившим, и оставался достаточно скромным. Количество потреблённого связывалось в его мозгу с названием самого общества потребления, и его успехи при этом были очевидны. Желание поделиться хотя бы этим своим достижением подмывало его. Человек он был достаточно ловкий и тонкий и, как правило, спешил отметить у наиболее богатого и значимого из присутствующих лиц.

– О-от, – при случае указывал он на пустую бутылку замутнённым глазом, ласково теребя её за горлышко, – упил.

– Добил, – волнистым движением перевёрнутой руки он словно обводил оставшиеся от ужина кости.

Краткостью замечаний и сдержанностью движений он подчёркивал свои хорошие манеры: врождённое воспитание, благоприобретённое умение не запинаясь произносить отдельные слова, несмотря на обилие выпитого и съеденного, изящная сдержанность манер...

В его расслабленном лице можно было увидеть следы, наверное, той же гордости, что одухотворяла когда-то лик Бенвенуто Челлини, показывавшего своё новое произведение венценосному Франциску I, или румянила ланиты Карла Фаберже, демонстрировавшего первый «пасхальный сюрприз» императрице Марии Фёдоровне.

На обрывки слов ищущего славы Леры и оттенки горделивости в его потевравшем сосредоточенность взгляде, высокозначимый господин обычно улыбался равно озадаченно, покровительственно и снисходительно, иногда потрепливая не забывавшего своё место собеседника по плечу.

НА ТРАВЕРЗЕ

Однажды после работы трём товарищам пришлось долго ждать транспорта на далёкой остановке. Выбора не было: перспектива брести несколько километров после трудного дня отметалась подсознательно; денег на такси не было тоже.

На их счастье, через несколько минут ожидания в компанию к ним добавилась симпатичная девушка, с которой ранее молодым людям уже довелось свести шапошное знакомство. Весело проболтав и выпросив у девушки телефон, который она, не ломаясь, дала, они посадили её на автобус, который, к сожалению, не имел с нужным товарищам маршрутом ни одной общей остановки, и вообще, шёл в другую сторону. К сожалению, тем более что её автобус подошёл полупустым и знакомая, заняв своё место, весело и изящно помахала оставшимся из окна. В общем, они потеряли темп.

Товарищи оказались несколько рассеяны по площади остановки и стояли друг за другом, так, что впереди стоящий не видел заднего.

Ближе всего к автобусу стоял простоватый, лишенный ловкости Марчелло. Он, конечно, решил, что ласковые помахивания прекрасной незнакомки относятся к нему, и чуть не упал, пытаясь не то поклониться, не то приветственно подпрыгнуть, не то сделать виденный в «Анжелике» реверанс.

За ним стоял Сашка. Он запомнил, как царапнула девушка его взглядом при представлении, расценил это как очевидную предпосылку и теперь раздумывал, куда пригласить её в ближайшие выходные: в кино или сразу в парк?

Сзади всех стоял Петька – самый опытный и уже искушённый соблазнитель. Он не сомневался, что «очаровашка», потрясённая его скучающим взглядом и

оттопыренной нижней губой (что придавало ему сходство с отпрыском какой-то династии, Петька только забыл, какой), в его руках, что через два дня тетка работает в ночь, что как минимум двое суток квартира будет в его распоряжении, что деньги на шампанское и на розу он найдёт, магнитофон у него был, а кассету с классными записями он тоже найдёт...

МИЛИТАРИСТСКИЕ ПОТУГИ

В нашем знаменитом вузе в объёме военной подготовки учащихся пытались напичкать разносторонними знаниями о зенитно-ракетном комплексе ПВО. Но ведь комплекс ПВО не автомобиль, не танк и даже не самолёт – это именно комплекс – абсолютно сложнейшее инженерное сооружение, включающий в свой состав и подъёмно-транспортные, и автомеханические, и радиотехнические, и электронные, и многие другие системы. Едва ли даже для учащихся, имеющих какие-то технические навыки, знания и желания, умеющих отличать глухую заделку от шарнирной, но работавших в большинстве своём по совершенно иным профильным учебным планам, детальное ознакомление с устройством и принципами работы всего комплекса было оправдано. Но приказ есть приказ!

Я откосил от жутковатой зубрёжки косноязычных наименований, схем и описаний тем, что устроился рисовать транспортно-заряжающую машину. Машина была здоровой, сложной, её изображение было нужным для организации какого-то не то педагогического, не то показательного процесса, и я, взявшись за дело с размахом, изображал аксанаметрическую проекцию машины около полугода и ещё полгода её раскрашивал. Постоянно отрывая себе в помощь изнурённых гетеротдинами, графekonами, индикаторами подсвета цели товарищей, я, по их словам, спасал их от нервно-паралитического кризиса и того, от чего вот-вот можно было сойти с ума.

Квинтэссенцией любого зенитно-ракетного комплекса является зенитная управляемая ракета. До сих пор помню наименование нашей – 5В21. Это, да ещё, пожалуй, наименование кабины КЗВ остались в памяти, несмотря на все штормы житейских потрясений. Писком этой самой квинтэссенции – «мозгом» ракеты служит головка самонаведения, дающая команды рулям и двигателю. Курс головки самонаведения считался очень сложным, ответственным, и легкотрудники, вроде меня, были освобождены от возложенных на них посторонних обязанностей типа рисования различных схем, протирки, чистки, ремонта и даже изготовления новых наглядных пособий и прочих разовых и оттого считавшимися малоценными поручений.

Курс «головки» был не долог, состоял из нескольких нудных лекций, почему-то именуемых практическими занятиями, и заканчивался зачётом.

На этих лекциях мы мало что понимали, отчего смотрели друг на друга косыми глазами (проявление юмора), и дабы поддержать себя в самооценке, развлекались тем, что быстро ставили спичечный коробок на стул тем, кто был поднят в уставном экстазе. Когда «служивый» садился, наступало время потехе.

Майор, проводивший занятия, несмотря на отливающие золотом очки, не сумел ни внушить любви к предмету, ни внести в душу хоть какой-то элемент понимания. Непонимание заразно, как всеобщая любовь или заблуждение. Единственный человек в нашей группе, который что-то понимал в электронно-механических

тайнах головки самонаведения и был независим в своих знаниях и оценках, был Мося, в прошлом победитель олимпиад по физике, «на чёрном континенте», как добавляли завистливые острословы. Мося легко ремонтировал всевозможные приёмники и магнитофоны, в том числе импортные, а позже отличился тем, что прямо на митинге починил громкоговоритель какому-то высокопоставленному лицу, отчего лицо напугало себя и рядом стоящих, после чего на Мосю долго косились. Человеком он был незлобным, независтливым и заслуживал уважения.

И надо же было тому случиться, но Мося задал какой-то вопрос по головке самонаведения очкастому майору. Мы из-за собственной темноты даже не поняли, о чём шла речь, но майор буквально взбеленился. Он немедленно возненавидел Мосю, и тому одному пришлось отдуваться за наше общее незнание, вернее за незнание остальных: сам-то Мося кое-что понимал даже в головке. Одному, потому что «зачёт» всем был выставлен автоматом и оказался приятным и ценным подарком, что сразу смирило нас с головкой самонаведения – панический испуг сменило спокойное уважение. Мося же парился с мстительным майором довольно долго: уныло запихивая в свою сумку поломанные магнитофоны и кривя лицо, он ходил к нему на зачёт несколько раз.

О чём Мося беседовал с майором, мы боялись даже предположить.

ВОРОНИН

Великий футболист полузащитник сборной СССР и московского «Торпедо» Валерий Воронин был в своей частной счастливо-трагичной жизни столь же необычен, как и на поле. Вспомним, что на чемпионате мира в Англии сборная СССР заняла своё высшее место в истории – четвёртое, а Воронин был включён журналистами в состав символической сборной мира. Как игрок он был бесподобен: выпрыгивал при подаче углового на полкорпуса выше остальных, легко делал резкое ускорение, отрываясь от опекавшего его игрока, или, напротив, выполнял неожиданный хитрый финт, укрощая разогнанный мяч и посылая его в нужном направлении. Всё это выполнялось легко, красиво, непринуждённо, изысканно. Вообще слово «красиво» удивительно подходило Воронину – человеку из скромной рабочей семьи, поражавшего, прежде всего женщин, чертами мужественного благородного лица, с прямым носом и умными тёмными глазами, окаймлённого подчёркнуто аккуратной, при этом изысканной причёской. Воронин на поле всегда был элегантен, именно ему приписывают изменение моды на футбольную форму, когда большие широкие трусы сменили короткие, называемые почему-то «баскетбольными», когда футболка получила ожививший её воротничок, когда, казалось, модными стали даже грубоватые бутсы.

Валерий Иванович любил красивые загулы: то ехал в Питер, к подруге, то летел в Сочи – искупаться. Чаше, находясь в ударе, он находил в себе силы на десяток (за день!) посиделок в ресторанах и на квартирах, а то и в подсобках магазинов или в наскоро организованных «парашетных» фуршетах.

Очень тяжело переживал свою неудачу в игре против сборной Бразилии, когда сборная СССР проиграла 3:0, а Воронин не смог нейтрализовать великого Пеле. Хотя, по свидетельству журналиста и писателя Павла Нилина, еще перед игрой он самоуверенно обещал, что Пеле они друг с другом «разменяют» во взаимной борьбе, отчего игра станет, по его мнению, неинтересной. Вскоре после игры, по

свидетельству того же журналиста, находясь в подпитии, он тяжело переживал, сокрушался, даже испытывал смятение, что не смог ярко заявить о себе в игре с Пеле.

Вскоре, психологически восстановившись и как спортсмен, и как боец, он нашёл видимое объяснение преимуществам Пеле, считая, что ловко и широко расставляемые руки мешают к Пеле подступиться и отобрать у него мяч.

Работа Воронина на поле, в спортивном зале, в бассейне поражала своей напряжённостью, с поля чаще всего он уходил последним, в зале изматывал себя циклическими упражнениями, в бассейне упорно проплывал свою «тыщу» – дистанцию, какую проплывает за тренировку не каждый пловец. Однажды, подсмотрев, как тренируются ватерпольные вратари, проплывая сотни метров на ногах, в вертикальном положении, с поднятыми над водой руками, он задался целью и в конце концов сделал то же.

Он был хорош во всех спортивных играх, в которые играл: мастерски подавал волейбольную подачу, ловко разыгрывая мяч, не раз приходил на тренировку хоккеистов.

Человек общительный и начитанный, он был кумиром артистической богемы Москвы. Особенно дружными были его отношения с Олегом Далем и Борисом Хмельницким. Однажды Даль пригласил всю команду «Торпедо» на спектакль в «Современник». Пришли несколько человек, среди них Стрельцов, Воронин, Шустиков... Даль был счастлив и во время одного из своих монологов спросил в зал: «А когда играет «Торпедо»?»

Воронин спешил жить, словно чувствовал, что в этом мире ему отмерено не так много. Его спортивная составляющая была всеохватывающей: Валентин Козьмич Иванов говорил, что он не знает ни одного вида спорта, где бы Валерий не то что не попробовал, но не показал бы себя.

Он не раз становился к станку на ЗИЛе, к удовольствию рабочих освоив простейшие операции на токарном и фрезерном станке, хорошо водил машину, ловко ездил верхом, лихо управлял катером и моторной лодкой. В одном из перелётов из Москвы в Ленинград, познакомившись с командиром воздушного лайнера, он получил приглашение в кабину лётчиков, был усажен в правое кресло и на несколько минут, под контролем командира корабля, получил в руки штурвал.

Запомнилось, как трижды встречал этого футболиста на торпедовском стадионе уже в то время, когда он не играл. Первый раз он пришёл в конце первого тайма, минут за десять до конца, сел прямо перед нами, и торпедовцы вскоре забили гол. Во втором тайме он уже не появлялся. Матч так и закончился: со счётом один-ноль.

– Вот, как надо футбол смотреть – по-воронински, – замечал пожилой болельщик, когда мы толпились на выход. – Пришёл на пять минут, посмотрел, гол забили – и он ушёл. Не иначе позвонили ему перед матчем, сказали, на какой минуте забьют.

А ведь именно умение «смотреть футбол» многие специалисты считают определяющим и для высококлассного игрока, и для тренера, и для знатока!

Другой раз я заметил его, о чём-то тяжело беседовавшим с милиционером у выхода с трибуны северной стороны торпедовского стадиона. Последний, по-видимому, не узнавал его, что случалось всё чаще после аварии 1967 года, когда Воронина-человека врачи буквально вытащили с того света, а красавец Воронин сильно повредил себе лицо. В конце концов милиционер, неудовлетворённый беседой с Ворониным, потянул его за рукав, намереваясь, по крайней мере, вывести со стадиона. Тогда Валерий Иванович обратился к зрителям:

– Болельщики «Торпедо»! Меня забирают! – возмущённо крикнул он, вырывая рукав из рук блюстителя порядка. Трибуна, большинство которой составляли не фанаты, но подлинные любители футбола, взорвалась мгновенно, обдав всё вокруг таким рёвом и свистом, что напуганный милиционер немедленно выпустил Воронина, да сам быстро скрылся в подтрибунном помещении, а игрок, владевший мячом на ближнем фланге, вздрогнув, упустил его за боковую линию.

Воронин был доволен этим проявлением любви. Он немедленно уселся на освобожденном рядом месте, несколько раз поднимал руку и полуоборачивался к болельщикам, поднимая бурю зрительских восторгов.

Однажды довелось видеть его на «трёпе» – подобию клуба болельщиков, нерегулярно, но часто собиравшегося у динамовского стадиона. Остановившиеся люди говорили о футболе, порой эта беседа так занимала некоторых, что они отдавали ей часы и договаривались о следующей встрече. Порой собиралась группа в полсотни человек и больше. Были здесь и свои звёзды, увы, не писавшие комментариев для проходивших матчей, но комментировавших их свежо, азартно, образно.

Бывала здесь и знаменитая Машка – болельщица ЦСКА, известная московским болельщикам, отличавшаяся порой неадекватным поведением, но, несомненно, обладавшая замечательным чувством юмора, даже, не побоюсь этого слова, специфическим талантом. Не раз во время матча она останавливалась перед трибуной и отпускала остроумные, порой солёные пояснения в адрес отдельных игроков, тренеров, уровня и стиля команд, стоявших перед ними задач. Запомнилось, как после одного из неинтересных, похоже, договорного матча между ЦСКА и «Спартак» она с горечью резюмировала: «Надо их объединить и назвать «Военторг».

Вот на этот-то «трёп» и попал поддатый Воронин, зацепившись с одной из местных «звёзд» о типе финта, каким обыгрывал соперника великий венгр Альберт. «Звезда» не узнала Воронина: он был уже после тяжелейшей автомобильной травмы, изуродовавшей его лицо, и возражала ему достаточно высокомерно и предельно уверенно. Воронин вновь оспорил возражавшего ему. Тот немедленно взорвался:

– Да ты-то откуда знаешь, под какую ногу он финт делал? Будто играл против него.

– Представь себе, играл, – парировал Воронин и выставил перед глазами вознёвшейся было «звезды» своё удостоверение «Заслуженного мастера спорта». Весь «трёп», казалось, ведший независимые, непересекавшиеся разговоры, вздрогнул, но разом нашел типично русский, многократно опробованный метод. На оказавшейся рядом тумбе появились колбаса, хлеб, стаканы, в руках завертелась бутылка. Воронину подобострастно поднесли. Он не отказался.

На чемпионате Мира в Лондоне, в 1966 году, он действительно напрочь выключил из игры и Альберта, и позднее Эйсебио. Единственным из советских футболистов по итогам того памятного чемпионата Мира, где советская команда заняла высшее в своей истории четвёртое место, был включён в символическую сборную мира.

ЭКЗАМЕН ПО ФИЛОСОФИИ

Сдать философию как «кандидатский экзамен» в институте, где я пытался это сделать, оказалось совсем не просто. До меня и раньше доходили слухи, что заведующий кафедрой огромный и пузатый профессор Карапетян, друг ректора, очень требователен к студентам, злопамятен, всех поимённо помнит, требует неукоснительного посещения лекций... но со свойственной молодости беспеч-

ностью я решил, что слухи, как всегда, преувеличены, что «наглость – второе счастье», что «прорвёмся». На лекцию по марксистско-ленинской философии я, правда, пришёл, но был просто шокирован запредельным количеством слушателей в аудитории с низкими потолками, тесно, плечом к плечу, рассевающимися за партами, тяжёлым спёртым воздухом и духотой, образовавшимися, по-видимому, от излишней циркуляции и столкновений буржуазных философских взглядов.

Марксистско-ленинская философия 50 – 80-х годов XX века, в её тяжёлой и застывшей казуистической подаче, восторжествовавшей в хрущёвские времена, уподобилась фактически теологии, требовавшей заучивания большого количества специальных текстов, и для большинства была абсолютно чуждой. При этом сами классики марксизма весьма критично, диалектически относились к своим творениям. Отсутствие чётко выраженных критериев справедливости гуманитарных оценок, постоянный «накат», осуществляемый со стороны поощряемых философов «от капитала», формирование сытого отупевшего класса «проводников учения» в нашей стране в конце концов привели к падению левого мировоззрения в России. В то же время в области техники, за исключением малых, потребительских форм, советская наука добилась к середине 80-х годов XX века очевидного превосходства.

Как бы там ни было, но на лекции я ходить не стал, решив подготовиться к экзамену со всей тщательностью. Помню и сам экзамен, принимала который группа преподавателей во главе с огромным пузатым Карапетяном.

Подготовив доставшиеся мне вопросы, я дождался, когда профессор был занят сразу с двумя экзаменуемыми, и подсел к его партнёрше. Она встретила меня достаточно приветливо, тем более что вытянутые мною вопросы я, по своей собственной оценке, знал достаточно хорошо. Из всей тысячи страниц, прочитанной мною на тему философии марксизма-ленинизма, в голове остались лишь названия нескольких работ классиков, что говорит, как мне кажется, об абсолютно неверной трактовке этого вопроса.

Тем не менее первый вопрос я достаточно благополучно ответил, о чём свидетельствовала сдержанная улыбка на лице моей экзаменаторши. Заканчивая свой ответ, я позволил себе даже сверкнуть не совсем точной цитатой из трудов одного из классиков, отчего сопутствующая мне улыбка стала немного шире.

– Переходите ко второму вопросу, – благосклонно предложил мне мой ментор.

Я уже раскрыл было рот, чтобы выложить всё что знал по второму вопросу, и даже больше, но тут раздался грозный рык Карапетяна, которым он до икоты напугал экзаменуемую им девицу:

– Да вы что! Он не знает диалектического материализма!

Посрамленный, я забрал свою ручку и шпоры, решив искать счастья в философии где-нибудь в ином месте.

Один из друзей – Володька – решил мою проблему довольно скоро. Жил он в Кубинке, отчего имел прекрасные отношения со многими служившими в Москве военными.

– Покупай литр коньяку, – последнее слово Володька произнёс строго, – и иди в академию к Витьке – к Виктору Николаевичу: он тебе все твои вопросы решит.

Виктор Николаевич служил на какой-то должности в Военно-политической академии имени Ленина. Приняв коньяк, он благожелательно подсказал мне, куда сдать документы, и вскоре познакомил с глубоко погружённым в собственный мир подполковником, взгляд которого никогда не останавливался на одной точке,

а постоянно перемещался по близ- и дальлежащим предметам, словно проясняя разницу между английскими *this* и *that*. Подполковник предложил мне быть спокойным и выучить 17-й билет, билеты по философии были в то время стандартны во всех приёмных комиссиях.

Я в соответствии с полученными рекомендациями, особенно не волнуюсь, выучил 17-й билет и явился на экзамен, оказавшись единственным гражданским среди полутора десятков офицеров.

Мой новый знакомец – подполковник, рядом с другими членами комиссии, равными ему в звании, сидел во главе экзаменационного стола и с дежурными словами – берите билет – небрежно ткнул рукой в один из перевёрнутых, заполненных и проштемпелёванных бланков, лежащих перед ним. Я взял билет, это был вожделенный 17-й, и нахально отправился готовиться, заняв одну из первых парт.

Поскучав минут пятнадцать я, в числе первых, если не первым вышел к столу, где надеялся сдать злополучный для меня экзамен.

Довольно быстро я изложил заученный мною ответ на первый вопрос, подполковник помял выставленные перед собой руки и, глядя то на них, то на видневшиеся из окна на противоположной стороне улицы здания, мягко разрешил:

– Переходите ко второму вопросу.

В тот же момент раздался громкий командный голос сидевшего с края подполковника:

– Товарищи офицеры!

Загрещали парты. Все присутствовавшие офицеры повскакали с мест. После некоторого сомнения поднялся со своего стула и я.

В зал вошёл старенький, убелённый сединами генерал. Приветственно подняв руку – он был без головного убора, дал знак садиться. Генерал занял место у экзаменационного стола, взял мой экзаменационный билет, спросил у подполковника – какой вопрос я отвечаю, на что тот тихо ответил, и принялся гонять меня по этому самому вопросу. После трёх, четырёх или пяти вопросов я, не ожидавший обострения ситуации, почувствовал, что поплыл. Генерал, по-видимому, почувствовал это тоже. Он взглянул на подполковника, взор которого уперся, наконец, в угол комнаты, и спросил:

– Как он? Э-э, по первому вопросу?

– Бе... Бле... блестяще, – смущенно выдавил из себя подполковник, затем с трудом вернулся из мира внутренних путешествий и собранно, командирским голосом добавил: – По первому вопросу... очень хорошо отвечал.

Генерал, успокоенный твёрдой интонацией, посмотрел на меня тем взглядом, каким, наверное, партизаны смотрели на сдававшихся в плен обмерзших полуживых французов, и милостиво отпустил.

Экзамен был сдан.

ОРДЕНА

Когда-то командующий Дальней авиацией страны Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Василий Васильевич Решетников рассказывал, что в послевоенные годы был познакомлен, а впоследствии поддерживал товарищеские отношения и даже сдружился с замечательным поэтом Михаилом Аркадьевичем Светловым.

В то время необыкновенной популярностью пользовался недавно открытый вертеп – «Коктейль-холл», располагавшийся в самом начале улицы Горького, в доме номер 6, напротив Центрального телеграфа. Здесь был большой ассортимент коктейлей, ликёров и пуншей, кофе с ликёром, джаз-оркестр. Работал «Коктейль-холл» до трёх часов ночи... Но чтобы иметь хотя бы вероятность попасть в официальный советский вертеп, надо было простоять час, а то и два, а может быть, и три в длинной очереди у входа.

Однажды, в конце 40-х годов, во время своего редкого приезда в Москву и встречи со Светловым, находившегося в богемной компании ещё двух художников и совсем молодого, обласканного значительно позднее поэта Эдуардаса Межелайтиса, прогуливаясь с дамами, Михаил Аркадьевич и Василий Васильевич оказались неподалёку от этой самой очереди.

– Слушай, а у тебя Звезда с собой? – задумчиво обратился Михаил Аркадьевич к Василию Васильевичу, который был лётчиком Дальней авиации и Героем Советского Союза. Публично носить награды в то время некоторыми считалось неприличным, наверное, в память о тех, кто был их наиболее достоин, но с войны не вернулся.

– Ну так надень, попробуем с чёрного хода.

Художники запротестовали, называя контроль «с той стороны» зверским, контролёра известным Цербером, сказали, что это бесполезно, и пытаться своё счастье наотрез отказались.

Василий Васильевич, смущаясь, прицепил Золотую Звёздочку на свой пиджак и во главе поредевшей процессии покорно направился к названному входу, приобретавшему в советской действительности всё большую значимость. Оттуда на них мягко дохнул сладкий запах коктейлей и пирожных, приветственно оглушили резкие звуки бурно заигравшего джаз-оркестра.

У входа в зал их остановил крупный пожилой человек с печальными глазами, в официальном костюме и большим орденом Красного Знамени на груди. Размеры ордена говорили, что он принадлежит к числу самых первых, полученных ещё в первые годы Гражданской войны.

– А удостоверение у вас есть? – тихо спросил администратор Василия Васильевича. Удовлетворившись внешним видом блестящей красной книжки, он поднял глаза на Межелайтиса.

Удостоверение секретаря ЦК комсомола Литвы выглядело весьма основательно и возражений не вызвало.

Теперь администратор степенно обратился к Михаилу Аркадьевичу, посмотрев на него устало, но оценивающе:

– Ну а вы?

Светлов столь же оценивающе взглянул на администратора, задержал свой взгляд на его ордене и, нарисовав перстом в воздухе вопросительный знак и поставив под ним эффектную точку, в свою очередь спросил:

– А вы песню «Каховка» знаете?.. Так это моя! А у вас, мы, может быть, ещё что-нибудь сообразим.

– Проходите, – оживлённо посторонился администратор, почтительно и удивлённо глядя в лицо Светлова. – Машенька! Подготовьте, пожалуйста, место, – обратился он к официантке...

Василий Васильевич снял Звезду ещё в проходе, и теперь компания дружно и весело устраивалась за столиком, под удивлённые взгляды официанток и одобрительные – орденосного администратора.

АНТОШКА

Обычный день, двухлетний Антошка приходит с прогулки, в дверях сует мне в руки два пучка травы и, промямлив: «Позлавляю» (Поздравляю, – переводит его мать), спешит по своим делам.

Домашние разборки, взрослые говорят на повышенных тонах. Маленький Антошка расстроен и растерян.

– Извини! – неожиданно и просительно обращается он к самому громогласному.

Перед сном Антошке читают «У Лукоморья дуб зелёный...». Как-то ему предложили прослушать знакомые строки в иной ситуации.

– Бабушка, так мы же не спать ложимся! – возмутился Антошка.

– А не зайти ли нам в кафе? – спрашивает двухлетний Антошка у бабушки.

– Зачем, Антоша?

– Блинчиков поесть, – отвечает он после небольшого раздумья.

– Ты что, блинчиков хочешь?

– Н-нет... Так положено, – равнодушно заключает Антошка.

Внимание Антошки обращено на двух усталых маленьких школьников, понуро возвращающихся из школы с большими ранцами за плечами.

Вот, скоро будешь школьником, научишься читать, писать и считать...

– Нет, – возражает Антошка, взглядевшись в невесёлых школьников, – я в школу не пойду: я буду рыцарем! Буду всех защищать.

Невыспавшийся Антошка активно высказывает недовольство окружающим миром.

– Зачем же ты к нам пришёл? – спрашивают его.

– Случайно, – отвечает Антошка после короткого раздумья.

– Я к вам пришёл на полчаса! – На полчаса, – переводит мать.

СЕРЁГА

Жанет приехала в Москву из Сорбонны, чтобы укрепить свой продвинутый русский и научиться, как советовал ей отец, понимать великого Пушкина. Здесь, в Москве, совершенно случайно, на улице, она познакомилась с Серёгой, простецким парнем, служившим в военизированной охране, любителем поддать. С другой стороны, она не смогла устоять перед обаянием молодого приветливого человека, обладавшего исключительно милым и красивым лицом, напоминавшим другого Сергея – Есенина. Серёга обладал мягкими изящными манерами, выразительными глазами в опущенных длинных ресницах и ровным мелодичным говором.

Жанет влюбилась в Серёгу без памяти, как может влюбиться в молодого, сильного и красивого парня избалованная жизненной прелюдией, но выращенная в строгих правилах девица. Окончательно Серега сразил её, однажды взяв в руки

баян и точно исполнив несколько выразительных русских песен. Неизбалованный жизнью, Серега смотрел на метания Жанет настороженно, хотя грация и шарм молодой француженки, как и её страстность, не оставили безучастным и его русское сердце.

Жанет, несмотря на молодость, была западным рациональным человеком. Довольно быстро она сообразила, что Серега в российских тенетах может спиться довольно скоро и что жизнь им лучше продолжить во Франции, где она сумеет внушить ему иные взгляды на существование, новые интересы. Серега был не против Франции – он знал, что там теплее и живут богаче, да и Жанет ему, вообще-то, нравилась.

Между тем Жанет сообщила о своём твёрдом решении выйти замуж «за русского» родителям, и отец её, крупный бизнесмен, высоко ценивший русскую культуру, тем не менее, насторожившись, отложив все дела и захватив с собой жену – мать Жанет, немедленно вылетел в Россию – на смотрины.

Жанет заранее внушила Серёге целый кодекс строгих правил поведения, несколько раз водила его в дорогой ресторан, где предполагалась встреча с родителями. Подобрала и купила Сереге прекрасный костюм, рубашку и ботинки, так что тот, пока не открывал рот, был похож на настоящего «денди». Серёга быстро разобрался, что какой вилкой есть, и понял, что за столом лучше помалкивать. «Молчи – за умного сойдёшь», – не раз когда-то повторяла ему мать.

Наконец торжественный ужин был дан.

Французских родителей поразил эффектный внешний вид Серёги, его естественные, хотя и грубоватые манеры. Серёге отец Жанеты, после того как они с ним хлопнули по три рюмки дорогого коньяка, тоже понравился. Жанет была отвлечена разговором с матерью и не заметила пробуждения в своем женихе не то свободы, не то протеста, не то какого-то неведомого вольного начала. Серёга между тем шепнул что-то официанту, и вскоре тот появился с запотевшей бутылкой водки, завёрнутой в салфетку.

– Я хочу показать, как у нас в России пьют! – плавно проговорил Серёга сакраментальную фразу, забрав бутылку из рук официанта и ловко налив, грамм по сто пятьдесят, в просторные фужеры себе и потенциальному тестю. Тесть, взглянув на фужер, поперхнулся.

Между тем Серёгу понесло: его уже не интересовала реакция посторонних. Закусив маленьким кусочком хлеба, он, уже не глядя на окружающих, налил себе ещё раз, затем ещё. После этого встал и, пошатнувшись, направился к оркестру, где поинтересовался – нет ли у них баяна. Он готов был задать им музыкальную тему. Музыканты, поражённые роскошным видом Серёги, растерялись и, смутившись, отвечали, что, к сожалению, баяна нет. Серёгу между тем возмутил мужик, сидевший рядом с оркестром и рассмеявшийся на его слова.

– Ах ты... – Серёга резко и ловко ударил мужика в челюсть, так что тот послушно слетел со стула. В следующее мгновение Серёга сам получил сокрушительный удар в голову. Потом он долго был в туалете, где умывался, кому-то грозил, опять с кем-то дрался, делал примочки повреждённому глазу, пытался пристроить на место оторванный рукав дорогого пиджака. Потом приехала милиция и увезла Серёгу.

Родители схватили Жанет буквально под мышку и, невзирая на её бурный протест и отчаянные угрозы, увезли из этой дикой страны, где хотя и жили

когда-то Пушкин, Лев Толстой и Чайковский, но ангелоподобные юноши готовы были пасть так быстро, мелко и безвозвратно...

Сергея ждал от Жанет письма, но, так и не получив его, вскоре забыл её, а через некоторое время умер, отравившись некачественным спиртом.

НЕ В ОЧЕРЕДЬ

В середине 70-х годов судьба занесла нас на работу в один из подмосковных совхозов. Уборочная уже отошла, и мы подвизались на ниве сельского строительства. Октябрь в том году выдался холодным, и морозец бодрил не только ночных гуляк и спешивших поутру тружеников, но и к вечеру покрывал корочкой льда стоялые лужи.

Несомненной отрадой села, где мы квартировали, была деревянная баня с хорошей угольной печью, удачно сработанная каким-то безымянным зодчим. Баня была тёплой, не дымной, хорошо держала пар и манила не только заядлых любителей париться. Стояла она рядом с сельской столовой, являясь тем самым вторым центром, после клуба, местных развлечений. Единственным недостатком бани было то, что работала она через день – день для мужиков, другой для баб. Между столовой и баней стояла п-образная лавочка, в вечернее время становившаяся неким подобием местного парламента, неизменно, при отсутствии дождя, собиравшая любителей посудачить. Как-то и мы среди двух десятков аборигенов заняли на лавочке свободное место, дожидаясь нашего дружка Сашку, после ужина задержавшегося в столовой.

Сашка был высоким тучным парнем, с округлостью без полноты, в очках, любознательным и толковым, с претензиями на эстетство и, как это часто бывает, большим любителем поболтать и выпить.

Окружавшие мужики дружно осуждали качество недавно появившегося в местном сельпо напитка и истово ожидали какого-то своего, получившего у них превосходную оценку. Наконец из столовой вышел Сашка, огляделся и, не заметив в сумерках нас, пошёл к бане.

– Мужики, а сегодня это, день-то мужской? – поправив на носу очки, на ходу обратился он к собранию.

– Так, как должно... – философски отозвался кто-то из присутствующих.

Сашка посчитал информацию достаточной и, не сбавляя хода, прошествовал к бане.

– Сегодня ж там бабы, – удивлённо прошептал кто-то в наступившей тишине.

– Так ничего. Ему полезно...

Сашка, выпустив приоткрытой дверью облако пара, шагнул между тем во внутренний тамбур. Через секунды из-за двери послышались приглушённые перегородками резкие тембры. И в наружную дверь изнутри раздался сильный удар, за ним ещё и ещё. Удары становились всё сильнее, быстро стали яростными, и в свете висящей у дверей лампы было видно, как ходуном заходил вместе с дверью косяк, а из примыкающих к нему проконопаченных стыков брёвен стала подниматься пыль. Ошарашенный женским визгом, Сашка перепутал, в какую сторону открывается дверь, и поддался панике, подобно носорогу, которому среди знакомых плавней примерещился инструмент для кастрации. Невидимый в вечернем небе дым из трубы пошёл кольцами. На селе дружно залаяли собаки,

что бывает по недоступным пониманию причинам: не то из их усердия к службе, не то благодаря зовам инстинктов. Мужики в курилке притихли.

– Вот тебе и – «как должно»... Эк его разбирает! – прыснул кто-то.

Наконец Сашка сообразил, куда открывается дверь, и, распахнув её в густом облаке пара, вывалился наружу. Неловко, по-куриному скользя ногами по дорожной колее, он заспешил прочь от бани, в сторону нашего общежития.

– Представляете, ввалился я туда, а в предбаннике сидят эти... бабы... Ну да, были и молодые – голос у них визгливый, – рассказывал он позднее за стаканом портвейна. – Я их и не рассмотрел – очки-то у меня запотели, а одна, недолго думая, подскочила, да как плескнет в меня горячей водой из таза... А я ведь даже ничего и не видел, – разочарованно отмахиваясь, вновь и вновь переживал этот эпизод Сашка, – очки-то с улицы запотели!

Мы дружно сопереживали Сашке, ругая в душе повышение температуры его очков выше точки росы, что привело к столь досадной конденсации.

С тех пор при встрече с нами местные молодухи оживлялись, меняли рядность, хихикали, а на Сашку указывали пальцем.

ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

На пароме, курсировавшим между Хуком и Харвичем, в конце восьмидесятых годов я познакомился со скромным и интеллигентным, ещё довольно молодым человеком, преподавателем английского языка Евгением, возвращавшимся в Англию на работу из отпуска. Были же когда-то такие времена, когда простажировавшимся в Англии около года предоставлялся месячный оплачиваемый отпуск! Но моему новому приятелю отпуск был в самый раз: он был ему не только положен, но и просто необходим: Евгений, вместе с полусотней дам, все как один преподаватели английского языка, попал на стажировку в Ньюкасл-апон-Тайн. Мы с ним сошлись достаточно тесно, выпили пива, разговорились. Пятичасовое плавание между континентом и Великобританией стимулирует и потребление пива, и изучение средств спасения, и любование морскими пейзажами, и наблюдения за чайками и проходящими кораблями, и бесконечные разговоры...

– Всё у нас хорошо, спокойно, городок ухоженный, тихий. Всё есть. Живём в частном секторе, у различных хозяев, большинство – с отдельным входом. Заметно повышаем уровень своего языка. Командировка у нас длинная – под два года. Казалось бы, живи и радуйся. Но нет. Среди этой роты баб нашлись три-четыре, у которых был свой, не сказать что особенный, но свой, мягко выражаясь, чисто женский интерес к жизни. Англичане, сам знаешь, довольно индифферентны, тем более к стареющим иностранкам. Вот они, Салтычихи доморощенные, и обратили весь свой интерес на меня. А я женат, жену, в общем-то, люблю, да и в своём английском я поставил себе планку достаточно высоко. А на всю нашу группу мужик-то всего один – я. Ещё один должен был ехать, но в последний момент что-то там не получилось. Уж... не догадывался ли он? Так что пришлось мне там убежать, притворяться, прятаться, «включать дурака», симулировать, врать... как никогда в жизни. Даже «голубого» из себя изображал... заинтересовал при этом одного из наших преподав-англичан: ели отвертелся от него. Ты знаешь, но человеком я себя только сейчас, после месячного отпуска, опять стал ощущать.

Насколько я понял, Евгений всё же не устоял, не везде он смог удачно наврать, притвориться, спрятаться, особенно от молодящихся энергичных дам, и отправился в отпуск не только с большим желанием, но и необходимостью восстановить силы. Ко времени своего возвращения на родину он был настолько истощён, что попал в настоящий плен к английским футбольным фанатам-хулиганам, выезжавшим на матч в Германию. Они просто силой захватили его в свои ряды, одели в клубную куртку, поили пивом и джином, кормили, научили кричалкам и в течение нескольких дней повсюду таскали с собой, как куклу.

– Был я с ними и на матче, правда, помню плохо... Они меня всё по плечу хлопали и предлагали выпить за перестройку, – вспоминал Евгений. – Такой вот интернационализм... Для Германии у меня была только транзитная виза, так что пришлось возвращаться с фанатами в Англию, благо, их никакие пограничники и таможенники не досматривают – боятся, а отсюда совершать вторую попытку проникновения на родину. Хорошо, они хоть билет мой сдали и деньги вернули. Вторая попытка возвращения была, к счастью, успешной. Осталась от них вот эта ерунда. – Женя повернул ко мне лицо боком, подпёр щеку языком, и я увидел слабый символ футбольного клуба у него на щеке: – Какой-то химией нанесли, с-с-с... По десять раз в день мою с мылом. Отходит, но медленно. Правда, осталась от них ещё куртка болельщицкая. Так её у меня в Москве какие-то парни на ходу сторговали, за большие деньги. Оказывается, такие куртки у нас в большой моде. В общем, ещё и заработал, – усмехнулся он.

Когда мы расставались в Лондоне: он направлялся на Паддингтонский вокзал, а я на Виктория коач стайшн, Женя, заглядывая в глаза, ещё раз просил меня приехать в нему в Ньюкасл, погостить... Долго тряс руку, наверное, в третий раз положил мне в нагрудный карман бумажку с его адресом и телефонами.

– Приезжай! У нас там хорошо. Пивом угощу отменным: оно только в Ньюкасле бывает. О ночлеге не беспокойся, у меня две комнаты. Хочешь, друга с собой возьми, можешь даже двух... понахальнее.

ХУДОЖНИК

Сергей был художником от Бога и от родителей. Отец его был художником с Большой буквы. Внимание на себя он обратил ещё своей дипломной работой, которая в годы фальшивых потуг и нахального оригинальничания поражала и точностью рисунка, и уравновешенностью композиции, и богатым, но сдержанным колоритом. Работа эта была замечена, приобретена первыми лицами государства, а Серега был обласкан и награждён.

Работал Серёга в известной творческой организации, дававшей ему и мастерскую, и возможности участия в выставках, и реализации своих произведений. В последнем он, впрочем, не нуждался, близость к власти в те годы была аналогична близости к золотому тельцу: многочисленные олигархи и полуолигархи (из тех, что поскромнее) наперебой старались запечатлеть свои образы или образы дражайших половин (официальных и неофициальных) посредством Серёгиной кисти.

Выросший в художественной среде, он с детства привык к весёлой суете, своим мельтешением покрывавшей жизнь художников. Мельтешение это создавали и заказчики, и любители, и проходимцы, и бездельники. Последних, есте-

ственно, было больше других. Надо ли говорить, что всю эту суету обрамляли коньяки и вина, водка и виски... Каждый из художников устраивается в этом мельтешении сам, один становится замкнутым, другой уходит от угощений и болтовни хитростью, третий, их меньшинство, и вовсе покидает столицу и работает неизвестно где, подбивая «на подвиги» алчущих журналистов. Человек, добрый от природы и исключительно впечатлительный, Серега пошёл по пути, самому сложному для творчества и опасному для здоровья. Мастерская его была всегда открыта для многочисленных поклонников и знакомых.

Впечатлительность – главное качество настоящего художника, недаром это слово дало название крупнейшему направлению живописи. На редкость впечатлителен был и Серёга. С детства привыкший к собраниям живописи Москвы и Ленинграда, он, выехав в шестнадцать лет в Париж, упал в обморок в одном из залов Лувра – такое впечатление произвели на него живые произведения Веласкеса, Рембрандта, Рубенса...

Однажды мне довелось попасть к нему в редкий момент, когда гостей не было. Серёга работал над большой картиной, где артиллерийская батарея времён наполеоновских войн вела отчаянный долгий бой. Я нередко бывал пристрастен к Серёге и, хотя картина мне понравилась, не удержался от критики:

– А ты знаешь, что уже после семи-восьми выстрелов подряд стволы орудий тех времён очень сильно разогревались?

– Слышал, – осторожно и сдержанно согласился Серёга.

– А у тебя на картине этой высокой температуры не видно!

Было видно, что слова мои задели Серёгу, он задумался и в разговоре перестал участвовать.

Через некоторое время мне довелось видеть эту картину законченной. Серега, с характерным для него мастерством, сумел изобразить орудия, окружённые горячим, поднимающимся воздухом, даже немного искажающим контуры стволов. Героическая, динамично решенная композиция картины была великолепна, точны и живописны были и исторические детали формы и артиллерийской obsługi, и сражающихся рядом солдат, и лафетов, выгодно контрастировал со сценой боя далёкий, подёрнутый дымом боя пейзаж.

А три дня спустя я получил приглашение на званый вечер, где был и Серёга. Меня поразило, что кисть его правой руки была скрыта тугой бинтовой повязкой.

– Серёг! Где это тебя угораздило? – кивнул я на руку Серёги.

– Хм! – усмехнулся Серёга и пристально взглянул на меня. – Помнишь ту картину, с пушками?

– Конечно, помню, специально приходил её смотреть.

– Так вот. Когда эту картину готовил к отправке, случайно слегка опёрся я на неё рукой, попал как раз на ствол одной из пушек, краски тогда уже почти просохли, и тут же ощутил сильнейший ожог. Думал, так, показалось, ерунда. Но рука распухла, покраснелась так, что я и работать не смог. Пошёл к врачу. И что ты думаешь? Он диагностировал у меня ожог второй степени: некроз тканей и всё такое. А когда я ему пытался что-то объяснить, предложил пить поменьше. У врачей, сам знаешь, первое мнение самое верное...

Всё ж удалось мне их раскалить!

В ЗАВЕСАХ ВОССТАВШЕЙ ПЫЛИ

Герой Советского Союза, бывший артиллерист, а в мирной жизни поэт Михаил Фёдорович Борисов как-то сказал мне:

– А ты знаешь, чего киношникам совсем не удалось подметить и зацепить?

– Мест приобретения горячительного в боевых условиях, – пытался отшутиться я. Но Михаил Фёдорович оставался серьёзен.

– Ты знаешь, когда летнее солнце светит хотя бы несколько часов, песчаный слой, покрывающий землю, становится особенно летучим. А когда стреляешь из пушки с нулевым углом возвышения и летит снаряд, за ним создаётся область пониженного давления и следом за снарядом тонкой вертикальной завесой, по всей его траектории поднимается пыль. Так и на Курской дуге. Пушки били с разных направлений, большинство было выкачено на прямую наводку, траектории снарядов порой перекрещивались, и всё пространство перед глазами до высоты настильно пущенного снаряда оказывалось перегороженным опадающими стенками поднятой пыли. Танкисты, артиллеристы, да и пехота в этих условиях зачастую не видели ни друг друга, ни противника, пока не оказывались с ним лицом к лицу... Такой вот забытый штришок...

– Героя как получил? Так как положено – командир дивизии хорошо ко мне относился, по-отечески. После боя всю нашу батарею разметало, но поле боя за нами осталось. С полутора десятком битых немецких танков. Ему докладывают потери. А наша батарея на виду была, как говорится, «на направлении главного удара». Он спросил про нас. Ему отвечают – все погибли. Ищите, – не соглашается он, – кто-то должен остаться. Так меня и нашли, рассказывают, из-под земли откопали... Ну он на радостях меня и представил к званию. Вообще я тот бой плохо помню. Уже в начале боя меня слегка контузило... Мне тогда девятнадцать лет было...

